

ФИЛОСОФИЯ

УДК 930.85

Д.А. Аникин, О.В. Головашина

ТРАВМЫ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 17-78-20149).

Разбираются концепции травм и рассматриваются методологические основания применения понятия «травма» в исследованиях. Психологическая трактовка акцентирует внимание на носителях травмы, социологическая – ориентирована на изучение механизмов репрезентации травматического прошлого и медиастратегий его передачи. Также разрабатывается типология культурных травм, которую можно использовать для изучения динамики исторической памяти в условиях социальных изменений.

Ключевые слова: историческая память; травма; репрезентация; историческая справедливость; травматический дискурс; коммерциализация прошлого.

Травма: постановка вопроса. Расширение и углубление проблематики «memory studies» приводит к пересечению анализа исторической памяти с другими направлениями гуманитарных исследований, сформировавшимися во второй половине XX в. Одним из таких направлений является изучение культурных травм, активно развивающееся в зарубежной, прежде всего американской, гуманитарной науке. При этом, как и в любом институализирующемся дискурсе, в исследованиях травм встречается категориальная неопределенность или чрезмерная метафоричность, что, с одной стороны, делает работы исследователей доступными даже для непрофессиональных читателей, но с другой – затрудняет научную концептуализацию предмета исследования. Вместе с тем, возникнув в конкретном социокультурном контексте, понятие «травма» достаточно быстро продемонстрировало свою универсальность и способность концептуально выразить суть явлений, которые территориально и хронологически удалены друг от друга. Несмотря на то, что часть работ основоположников этой проблематики уже переведена на русский язык, ощущается недостаток исследований, предлагающих упорядоченную классификацию и методологический анализ существующих подходов [1. С. 11–22].

Социокультурным контекстом для постановки вопроса о травмах стали психологические последствия тех войн и конфликтов, в которых принимали участие американские военные в XX в., прежде всего война в Корее и война во Вьетнаме. Так называемый «вьетнамский синдром» вызвал к жизни потребность в осмыслении травмирующих воспоминаний и поиске способов борьбы с ними. Поэтому вполне закономерно, что основным профессиональным сообществом, заинтересованным в практическом и теоретическом изучении данного вопроса, стали американские психиатры. Первоначальной целью их деятельности являлась медиализация «вьетнамского синдрома», что подразумевало его включение в классификацию психических заболеваний. Но в процессе дальнейшего изучения военного опыта выяснилось, что диагностированные симптомы имеют более универсальную

природу и присущи также людям, пережившим немецкие концлагеря, представителям различных меньшинств, подвергавшихся дискриминации по демографическим, этническим или религиозным признакам. Расширение сферы исследования привело к появлению в 1978 г. в профессиональном психолого-медицинском дискурсе термина «посттравматическое стрессовое расстройство» [2]. С этого момента можно отсчитывать родословную нового направления, которое не только продолжило углубленное изучение все новых травматических событий и порождаемых ими психологических последствий, но и обратилось к поиску методологических оснований. Прежде всего в центре внимания исследователей оказался вопрос о психологических механизмах травмирования, а также о влиянии социокультурного контекста на формирование и репрезентацию травм. Подобная амбивалентность привела к разделению исследований памяти на два направления, которые можно условно назвать психологическим и социологическим.

Психология versus социология. Каждое вновь возникающее направление в первую очередь озадачивается проблемой поиска предшественников. В сфере изучения травм таковым является австрийский психолог З. Фрейд, который столкнулся с подобными психологическими явлениями при обследовании бывших участников Первой мировой войны. Он напрямую увязывает возникновение подобных травм с нарушением нормальных мнемонических механизмов, т.е. травма становится проявлением, пусть и деструктивным, работы памяти.

Важным достижением Фрейда, которое впоследствии активно использовалось исследователями травм, является выяснение того, что подлинным источником травмы оказывается не само событие, а воспоминание о нем. Из этого можно сделать логический вывод, что проблема заключается не в том событии, очевидцем или участником которого был человек, а в его неспособности отнести это событие к прошлому, перестать заново «проигрывать» происшедшее некогда. С точки зрения психоанализа травма и заключается в неспособности провести границу

между актуальным состоянием индивида и его прошлыми состояниями. По сути, человек, страдающий травматическим синдромом, оказывается неспособным отпустить свое прошлое, которое продолжает навязчиво воспроизводиться в его подсознании, заставляя носителя раздваиваться между объективными условиями его существования и той картиной реальности, которая конструируется психикой.

Психологическую трактовку травмы в той или иной степени разделяет целый ряд исследователей, например американский историк и культуролог Кэти Карут. Она считает, что травма не может быть отнесена в чистом виде ни к прошлому, ни к настоящему, она представляет собой способ связи, посредством которого прошлое продолжает существовать. Существенное внимание уделяется американской исследовательницей возможности репрезентации травмы, причем в качестве способов репрезентации она выделяет *нарратив* и *голос* [3. Р. 3]. Нарратив безличен и призван стереть следы прошлого, в то время как голос непрерывно напоминает о произошедшем, причем не только о самом травмирующем событии, но и невозможности существования после этого события. Далеко не всегда человек способен выразить свои ощущения от произошедшего в виде связного текста, поэтому голос травмы может проявлять себя в художественных образах, снах или навязчивых действиях. Нетрудно заметить, что Карут абсолютизирует объективность возникновения травм, а также потребность в озвучивании травматических переживаний, что вполне соответствует психоаналитическому пониманию избавления от психической зависимости.

Другой американский исследователь, Д. ЛаКапра, считает, что травмы нуждаются не столько в самом акте высказывания, сколько в *проработке*. «Невысказанный опыт» (в терминологии К. Карут) или «возвышенный опыт» (в терминологии Ф. Анкерсмита) – это понятия, по его мнению, основанные на презумпции невозможности передачи индивидуального опыта, но такая невозможность привела бы к исчезновению человеческой цивилизации. Поэтому стоит обратить внимание не на способность травмирующего субъекта к объективному изложению собственного опыта, а на возможность преодолеть последствия травмы путем постепенного ослабления и устранения повторяющихся воспоминаний. Проработка – это процесс рационализации прошлого, который способствует детравматизации события, она ограничивает повторяемость прошлого, осуществляя переход от меланхолии к трауру [4. Р. 13–14].

Социологическая трактовка исследования культурных травм представлена тремя основными представителями – П. Штомпой, Д. Александером и Р. Айерманом, каждый из которых внес существенный вклад в понимание того, каким образом травма выступает не только психологическим механизмом, но и социальным конструктом. Общей предпосылкой этого направления является признание того, что наиболее существенным фактором возникновения травматических воспоминаний является социальная среда, в которой находится человек. Травма возникает не столько в силу подспудно осуществляющейся ра-

боты бессознательного, сколько из-за того, что социокультурный контекст активизирует деятельность психики, запуская механизм травматизации. Для объяснения этого процесса необходимо определить характерные черты как самой травмы, так и тех условий, при которых резко повышается шанс на ее возникновение.

П. Штомпка выделил следующие признаки, которые свойственны каждому травмирующему событию:

1) неожиданность и быстрота происходящих изменений;

2) тотальность и кардинальный характер изменений;

3) экзогенность, восприятие произошедшего события как не зависящего от воли и желания самого индивида;

4) негативный характер события [5].

Под такой набор признаков подпадают не только войны, но и другие социальные катаклизмы, например политические перевороты, распады государств, резкие изменения в социальной и экономической жизни. Таким образом, возникновение культурных травм рассматривается как закономерное следствие протекающих в обществе процессов, а неспособность человека абстрагироваться от собственного прошлого становится естественной реакцией на трансформацию социальной среды.

Д. Александер в своей концепции травмы отталкивается от функционализма Э. Дюркгейма, поэтому пытается прояснить, прежде всего, какую роль играет травма в жизни сообщества. «Культурная травма имеет место, когда члены некоего сообщества чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее событие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда отпечатывается в памяти и коренным и необратимым образом изменяет их будущую идентичность» [6. С. 255]. Даже в этом определении звучит ключевое отличие социологической модели травмы от психологической – люди лишь *чувствуют*, что в прошлом имело место травматическое событие. Иначе говоря, травма возникает не в момент самого события, а в процессе его репрезентации, точнее – в самом разрыве между событием и репрезентацией, а фундаментальным основанием возникновения травмы является наличие коллективной идентичности, угрозу которой человек способен осознавать. В этом смысле каждая коллективная травма – в значительной степени социальный конструкт, порожденный основной социальной потребностью человека – потребностью в солидарности. Общая историческая травма способствует сплочению сообщества. Например, Холокост активизировал процесс формирования израильской идентичности, а признание коллективной ответственности за существование нацистского режима стало мощным фактором поддержания германской идентичности в 60-е гг. XX в.

У Александера акцент в изучении травмы плавно смещается с самого травмирующего события на его репрезентацию. Любая репрезентация включает в себя необходимый набор элементов: носители травмы, публичная аудитория, конкретная ситуация, которая воспринимается как травматическая. Разумеется,

только наличие данных элементов еще не создает коллективную травму, но без хотя бы одного из них процесс конструирования травмы будет невозможен.

Р. Айерман уточняет мысль Александра, проводя различие между дискурсом и нарративом. Дискурс представляет собой безличное описание травматического события (например, параграф в учебнике истории), в то время как нарратив – это эмоционально насыщенное описание, которое свойственно обладателю травмы, и именно сходство аффективной реакции позволяет представителям сообщества получить дополнительное подтверждение своей коллективной идентичности [7]. Поэтому травму он обозначает как «процесс, цель которого – восстановить или перенстроить коллективную идентичность с помощью коллективного представления; это залатает прореху в ткани общества; травматическая прореха вынуждает “рассказывать новые основания”, заново интерпретировать прошлое, чтобы примириться с потребностями настоящего и будущего» [8. С. 46].

Особенностью исторической травмы, по Айерману, является то, что она может долгое время пребывать в латентном состоянии, дожидаясь совпадения необходимых условий для подходящей репрезентации. Историческим примером подобной «затяжной» травмы он считает рабство в США, которое сохраняет потенциальную конфликтогенность даже в условиях современного американского общества. Он подчеркивает, что под рабством он понимает не сам социальный институт, существовавший на протяжении нескольких столетий, а сохраняющееся в коллективном сознании потенциально травматичное воспоминание [8. С. 47].

Интересный аспект в таком контексте приобретает проблема миграции. Мигрант является потенциальным носителем культурной травмы, потому обладает определенным социальным опытом, не соответствующим той ситуации, в которой он в данный момент находится. Разумеется, само по себе это несоответствие не способно запустить психологический механизм травматизации, но при наличии дополнительных факторов (например, экономической нестабильности или несоответствия ценностных ожиданий) произойдет актуализация травматического опыта. Опасность заключается в том, что совпадение условий может привести к возникновению новых «сообществ памяти», для которых травмирующее событие (инцидент – в терминологии Р. Айермана) будет наделено сакральными характеристиками, а любое сомнение в истинности данного события будет вызывать неадекватную реакцию.

Динамика и структура травмы. Стоит отметить, что разница психологической и социологической трактовки заключается не только в том, какой набор факторов приобретает преобладающее значение, но и в понимании субъекта травмы.

С точки зрения сторонников психологизации, субъектом травмы является «свидетель», непосредственный участник или очевидец произошедших событий. Коллективный характер травмы в этом случае возникает за счет того, что имевший место инцидент является общим прошлым для отдельного сообщества

или разных категорий населения. Поэтому одним из основных вопросов психологического анализа травмы является вопрос о возможности репрезентации такого опыта (как это сформулировал Т. Адорно, «можно ли продолжать писать стихи после Освенцима?»). Именно в репрезентации и рационализации такого опыта видится основная стратегия детравматизации. Человек, который оказался способен выразить личные трагические воспоминания в знаковой форме, проводит границу, разделяющую прошлое и настоящее. А это, в свою очередь, позволяет воспринимать травматический опыт не как постоянно переживаемое, а как пережитое однажды в прошлом. А. Эткинд выражает суть подобного перехода с помощью категорий «горе» и «скорбь» [9. С. 24–41]. Горе заключается в вечном повторении пережитого, когда человек не готов помнить именно потому, что помнить не о чем, поскольку прошлое остается настоящим. Скорбь же заключается в отстранении пережитой трагедии, когда память возвращается, знаменуя прекращение травматического синдрома. «С помощью магии, культуры или анализа скорбящий создает маркеры различия, которые помогают варьировать серийные репрезентации прошлого» [Там же. С. 37]. Во многом эта точка зрения развивает идеи М. Джебя, который делает в своих работах акцент на темпоральном разрыве между событием и травмой, что и позволяет проявиться работе скорби [10. Р. 13–14]. Скорбь в данном случае должна пониматься уже не как чисто психологическая, а скорее как социально-психологическая категория, поскольку подразумевает определенное единство коллективной реакции на прошедшее событие.

Представители социологической трактовки травмы делают акцент на том, что травма может быть свойственна не только очевидцу, но и представителю следующего поколения, поэтому в центре их внимания находятся механизмы коммуникации, позволяющие обеспечить передачу не только знания о травме, но и самого психологического ощущения. Другим, не менее важным вопросом становится выявление оснований самой потребности в наличии травмы, что опять-таки требует анализа социальной обстановки.

Тем не менее и в случае психологической, и в случае социологической трактовки используется одинаковый термин «травма», что приводит к некоторой терминологической путанице. Поэтому вполне закономерным было бы разведение двух взаимосвязанных, но все-таки различных понятий – коллективной травмы и культурной травмы.

Коллективная травма – это комплекс психологических ощущений, возникающий у очевидцев или участников определенного трагического события и являющийся общим, но при этом в полной мере не передаваемым опытом не просто выживания, но и последующего переживания данной ситуации.

Культурная травма – это нарратив, вписывающий произошедшее событие в совокупность образов, значимых для коллективной идентичности определенного сообщества. Культурная травма возникает не в результате личного участия, а посредством включенности в социальные практики передачи сакрализованного канона культурной памяти, включающего в себя

элементы как героического, так и трагического прошлого. В этом смысле она более формализована, способна к передаче последующим поколениям, а также предполагает определенный диапазон интерпретаций при условии, что они не будут посягать на основные элементы мифологизированной картины прошлого. Поэтому, говоря о динамике травмы, следует отличать логику переживания травматического прошлого в индивидуальном сознании и социальные механизмы, позволяющие обеспечить передачу травматического опыта последующим поколениям или иным социальным общностям. С социальной точки зрения травма не является единичным событием, она представляет собой определенную последовательность действий, разворачивающуюся на протяжении многих лет, специфическую форму социальной практики, поэтому корректнее говорить не о травме, а о травматизации как процессе.

П. Штпомка выделяет следующие фазы травматизации:

- 1) наличие культурной среды, способствующей возникновению травмы;
- 2) травматический инцидент;
- 3) поиск подходящих репрезентаций и создание травматического дискурса;
- 4) распространение травматических симптомов на то сообщество, которому они адресованы;
- 5) посттравматическая адаптация (институализация дискурса);
- 6) детравматизация – постепенное затухание симптомов травмы либо появление новой травмы, которая переключает внимание сообщества [5. С. 8].

Из данной периодизации очевидно, что основную часть процесса травматизации составляет формирование, а затем распространение определенного дискурса, позволяющего не просто проинформировать о наличии травматического события, но и выявить непосредственную взаимосвязь между ним и коллективной идентичностью.

В таком дискурсе сочетаются когнитивный и этический аспекты – истина сопрягается с исторической справедливостью. Мы ощущаем потребность помнить о произошедшем, потому что память является залогом недопустимости повторения травмирующего события впоследствии, а также задает сетку моральных координат, центрирующих не столько личное, сколько социальную ориентацию человека. Травматический дискурс, по сути, устанавливает дополнительный и едва ли не самый важный критерий социального различия – готовность признать / не признать наличие исторического события в необходимой интерпретации. Для этого дискурс должен обладать следующими структурными компонентами:

1. Он должен объяснить природу боли, т.е. содержать достаточно логичные и не требующие дополнительных доказательств утверждения о том ущербе, который произошло событие причиняет сообществу. В частности, выстроить корреляцию между трагическими событиями, произошедшими с конкретными индивидами, и потенциальным значением, которое эти события несут для остальных представителей общества.

2. Он должен сформировать образ жертвы, в качестве которой может выступать как конкретное сообщество, так и человечество в целом. Травмирующее событие может являться таковым только тогда, когда подразумевается его определенная направленность, в противном случае оно относится к миру природных происшествий, а не социальных событий.

3. Поскольку травматический дискурс всегда транслируется на определенную аудиторию, то он должен увязывать события, произошедшие с конкретным сообществом, с более широким социальным контекстом. В идеальном варианте подобного дискурса каждый получатель должен почувствовать сопричастность к потенциальным жертвам трагического события.

4. Наконец, он должен определиться с кандидатурой виновника и определить степень ответственности – индивидуальной или коллективной. В самом деле, являются ли виновниками установления нацистского режима Гитлер и его ближайшие приближенные или все, кто голосовал в 1933 г. за его избрание? Д. Александер, приводящий этот пример, не зря обращается к современной германской истории, которая продемонстрировала уникальный пример травматического дискурса – публичное признание национальной ответственности за Холокост и использование данной травмы в целях переконструирования коллективной идентичности [11].

При этом травматический дискурс должен обладать определенной символической пластичностью, которая обеспечивает ему возможность освоения и использования в различных институциональных средах. Д. Александер намечает несколько основных уровней институализации культурной травмы [6. С. 285–288]. В *религиозной сфере* присвоение травмы осуществляется посредством вписывания произошедшего события в дискурс трансцендентного (по принципу «кара за грехи» или «испытание»). В *эстетической сфере* травма институализируется при помощи новых жанров и форм выражения, которые позволяют создать эффект присутствия или сопричастия репрезентируемым событиям. В *юридической сфере* возникает возможность распределения вины и ответственности между причастными к травматическому событию либо урегулирования материального и морального ущерба (в том случае, если виновники недоступны либо правосудие осуществляется спустя большой промежуток времени). В *научной сфере* специфика институализации травматического дискурса заключается в пересмотре существовавших когнитивных конвенций, формировании новой категории обязательных и переструктурировании областей гуманитарного (прежде всего, исторического) знания. *Медиа сфера* стремится вписать травматический дискурс в логику собственного функционирования, что добавляет ему драматичности и эмоциональности, но при этом подчиняет закономерностям конкурентной борьбы за потребителя. Наконец, в *политической сфере*, как правило, культурные травмы становятся предметом прагматического интереса со стороны властвующих элит, которые могут ввести процесс травматизации в определенное русло и способствовать его постепенному ослаблению, а могут искусственно под-

держивать его с помощью выведения локальных коммеморативных практик на официальный уровень.

Травмы и медиа. Поскольку само понятие культурной травмы предполагает, что ее субъектами являются не очевидцы или участники самого травмирующего события, а их потомки или представители последующих поколений, то важным вопросом становится возможность медиа выступать в качестве способа репрезентации травмы, а также оценка последствий медиализации. В этом вопросе сходятся различные научные дискурсы – не только дискурс памяти и дискурс травмы, но и дискурс медиа, что позволяет создать отдельное междисциплинарное поле исследований.

В центре внимания указанных дискурсов находится вопрос о том, каким образом представители последующих поколений могут отождествлять культурные травмы с собственными воспоминаниями, порождая феномен, который профессор Колумбийского университета Марианна Хирш называет «постпамять». Постпамять устанавливает неразрывную связь между событиями далекого или не очень далекого прошлого с настоящим, центрируясь вокруг определенных сообществ, причем медиа играют здесь ключевую роль. Например, просмотр фильма о Холокосте способен привести не просто к осознанию имевшего место катастрофического события, а к соотношению себя и своего сообщества с показанными событиями, осуществлению ментального переноса исторической памяти через поколения. «Постпамять, представляя собой поле, объединяющее внутри- и межпоколенческую трансмиссию травматического опыта, характеризует посткатастрофические или посттрансформативные общества» [12]. Естественно, что возникновение постпамяти напрямую увязывается с потребностями сообщества в поддержании собственной идентичности, поэтому ее существенным элементом становятся культурные травмы, которые обозначают хрупкость границ сообщества, определяют потенциальные угрозы и одновременно демонстрируют стратегии преодоления этих угроз.

В этом смысле роль медиа рассматривается в первую очередь в качестве способа дать голос травмированному сообществу, донести до заинтересованной аудитории подробности травмирующего события и тем самым перевести травму в состояние общественной скорби. Как считают современные исследователи, «репрезентация травмы в данном случае может осуществляться посредством “работы скорби”, т.е. путем привыкания к реальности травмы при ее припоминании в “диагностических” дозах, или же методами “нарративного фетишизма” (термин Эрика Сантнера), работающими на уничтожение следов травматического события и развенчание самой потребности в скорби путем симуляции состояния целостности культуры» [13. С. 57]. Из этого следует, что сама суть медиа заключается в том, чтобы максимально соотносить акт репрезентации с самим историческим событием (в оптимальном варианте – подменить событие репрезентацией), что порождает дополнительную убедительность и эмоциональную насыщенность. Но эти характеристики являются двойными.

С одной стороны, они способны донести информацию о тех травматических событиях, которые в противном случае остались бы неизвестными потомкам, а с другой – они активно участвуют в создании самого травматического дискурса, выступая в качестве средства активизации травмы.

Ведущую роль при этом приобретает фигура свидетеля, который необходим «как фигура переводчика, как условие возникновения репрезентации, позволяющей как минимум указать на след, возможность возвращения вытесненного воспоминания» [13. С. 67]. Но здесь как раз существенным оказывается различие коллективной и культурной травмы, поскольку в случае коллективной травмы можно вести речь о свидетельском показании, которое формирует новые формы репрезентации и одновременно указывает на разрывы в предшествующей системе репрезентаций. В случае же культурной травмы функции свидетеля лишь приписываются автору репрезентации, не обладающему личным опытом проживания и переживания данного события. И здесь можно ставить вопрос о мотивации автора и том, какими социальными потребностями определяется конструируемый им травматический дискурс.

Белорусский исследователь Алексей Браточкин возвращается к идее Д. ЛаКапра о различении стратегий репрезентации травмы – разыгрывания и проработки [15]. Медиа в большей степени ориентированы на поддержание интереса аудитории, поэтому они чаще прибегают к разыгрыванию травм, что обеспечивает стабильный зрительский и пользовательский интерес. Вместе с тем не стоит рассматривать медиа в качестве исключительно способа трансляции заранее заданных смыслов, потому что их потенциал в выработке и активизации стратегий детравматизации намного больше. Поэтому роль медиа в репрезентации исторической травмы можно выразить в виде нескольких бинарных оппозиций:

1. Участие средств массовой информации в разыгрывании травмы – объяснение причин травмы и представление стороннего взгляда на ситуацию.
2. Выражение определенной политики идентичности – анализ опасности политики идентичности вообще и конкретных ее проявлений в форме исторических травм в частности.
3. Излишняя драматизация и придание эмоционального значения травмирующим событиям – перевод травматического дискурса во взвешенное и спокойное состояние.
4. Сосредоточенность на травме и подчеркивание ее исключительности – рассмотрение конкретного события в более широком историческом, политическом и культурном контексте.

Существенным признаком современного общества является то обстоятельство, что медиа не функционируют как автономный институт, а становятся точкой пересечения различных экономических и политических стратегий. Американский исследователь Марита Стёркен вписывает специфику медиализации травмы в более широкий дискурс опошления (trivialization) прошлого в условиях общества потребления. На примере медиарепрезентации событий недавнего амери-

канского прошлого – пыток в тюрьмах Абу-Грейб и Гуантанамо – она исследует способы превращения потенциально травматического события в китч, продукт, который может быть продан широкой зрительской аудитории. Например, элементом туристической индустрии становятся сувениры или открытки с видами этих тюрем, что незаметно переключает акцент с происходивших там событий на само понятие «памятное место» и потребность фиксации своего пребывания (реального или виртуального) в нем [14. P. 7]. В этом смысле современное общество демонстрирует устойчивый «треугольник», вершинами которого являются травмы, средства массовой информации и индустрия производства/потребления.

Таким образом, в изучении культурных травм прослеживаются две основные традиции: психологическая и социологическая. В рамках первой традиции, восходящей к З. Фрейду, под травмой понимаются ранее пережитые впечатления, которые не рефлексированы самим индивидом, но продолжают влиять на оценку им окружающей реальности и выбор стратегии поведения. Субъекты травмы – непосредственные участники или свидетели травмирующего события. В рамках второй традиции происходит переориентирование внимания на механизмы формирования травматического дискурса, который позволяет перенести травму на последующие поколения. Особое значение

в данном процессе приобретают медиа, которые, с одной стороны, становятся «голосом» травмированных сообществ, способствуя смягчению трагического прошлого, а с другой – представляют неотъемлемый элемент практики травматизации. Разработанная Д. Александром, Р. Айерманом и П. Штомпой структура культурной травмы позволяет по-новому исследовать динамику поведения локальных сообществ, понять механизмы символического конструирования прошлого и способов его присвоения.

Для исторической науки «memory studies» становятся новым способом изучения прошлого через призму репрезентаций и коллективно транслируемого опыта. Но необходимо понимать, что передача исторической памяти представляет собой сложный механизм, включающий сразу несколько процессов – не только закрепление в памяти значимого исторического события, но и селекцию всей совокупности образов, циркулирующих в обществе, а также целенаправленное или непреднамеренное забвение тех образов, которые утратили свою актуальность. В этом смысле понятие «травма» позволяет по-новому представить процесс трансформации коллективных воспоминаний, выявляет конфликтогенную природу памяти и способствует выработке консенсуса между различными сообществами по поводу прошлого.

ЛИТЕРАТУРА

1. Николаи Ф.В. Полемика о травме и памяти в американских исследованиях культуры. М. : Флинта, 2017. 184 с.
2. Кобылин И.И., Николаи Ф.В. Переопределяя границы сообщества: культурная память, травма, биополитика // История и историческая память. 2014. № 9. С. 90–103.
3. Caruth C. Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. Baltimore, 1996. 154 p.
4. LaCapra D. Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma. Cornell University Press, 1996. 248 p.
5. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.
6. Александр Д. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М. : Праксис, 2013. 640 с.
7. Айерман Р. Политическое убийство и культурная травма. URL: <http://urokiistorii.ru/memory/conf/51726> (дата обращения: 11.08.2017).
8. Айерман Р. Культурная травма и коллективная память // Новое литературное обозрение. 2016. № 5. С. 42–54.
9. Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 328 с.
10. Jay M. Refractions of Violence. Routledge, 2003. 225 p.
11. Аникин Д.А. Борьба за воспоминания: «критическая теория» коллективной памяти // Современные исследования социальных проблем. 2016. № 4. С. 5–8.
12. Хирш М. Память и контрпамять будущего. URL: <http://urokiistorii.ru/node/53865> (дата обращения: 11.08.2017).
13. Мороз О., Суверина Е. Trauma studies: история, репрезентация, свидетель // Новое литературное обозрение. 2014. № 1. С. 54–70.
14. Sturken M. Comfort, irony, and trivialization: the mediation of torture // International Journal of Cultural Studies. 2001. № 1. P. 1–18.
15. Браточкин А. Культурная травма и медиа. URL: <http://gefter.ru/archive/15301> (дата обращения: 11.08.2017).

Статья представлена научной редакцией «Философия» 7 сентября 2017 г.

TRAUMA TO CULTURAL MEMORY: CONCEPTUAL ANALYSIS AND METHODOLOGICAL BASES OF RESEARCH

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2017, 425, 78–84.

DOI: 10.17223/15617793/425/10

Daniil A. Anikin, Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: dandee@list.ru

Oksana V. Golovashina, Tambov State University (Tambov, Russian Federation). E-mail: ovgolovashina@mail.ru

Keywords: historical memory; trauma; representation and historical justice; traumatic discourse; commercialization of past.

This paper analyzes the category “trauma” in the contemporary “memory studies”. The authors pay attention to the ambiguity and excessive metaphoricality that make the scientific research conceptualization difficult and propose their own classification and some methodological techniques that can be used in further studies. The authors analyzed the works of the predecessors and divided them into two areas: psychological and sociological. The works of the representatives of the first group (C. Caruth, D. LaCapra) are based on psychoanalytic interpretation. From their point of view, the source of the trauma is previously experienced impressions that continue to influence the assessment of the surrounding reality and the choice of the behavior strategy. The subject of the trauma in this case is a participant or a witness, and representation and rationalization of their experience is the main strategy of detraumatization. Supporters of the sociological interpretations (P. Sztompka, J.C. Alexander, R. Eyerman) consider the social environment to be the most significant factor in the emergence of traumatic memories. So, they pay attention to the mechanisms of communication that allow the transmission of knowledge about trauma and psychological sensations. To avoid terminological confusion, the authors

propose to use the term “collective trauma” when talking about the experience of the traumatic situation by witnesses (psychological direction), and “cultural trauma” when it comes to the narrative that puts the event into the set of images relevant for the collective identity of a particular community (social direction). The trauma in this case is not a single event but a sequence of actions unfolding for many years, a specific form of social practice. Therefore, the authors propose not to speak about the trauma, but about traumatization as a process. There are several areas of institutionalization of cultural trauma. In this work, the authors analyzed the mass media, in particular, the abilities of the media to act as a channel of representation and a consequence of medialization. In case of cultural trauma there are main social needs that determine the design of traumatic discourse. It is important that the media in this context act as the point of intersection of various economic and political strategies. This increases the relevance of the study of cultural trauma in the discourse of the consumer society.

REFERENCES

1. Nikolai, F.V. (2017) *Polemika o travme i pamyati v amerikanskikh issledovaniyakh kul'tury* [Controversy about trauma and memory in American culture studies]. Moscow: Flinta.
2. Kobylin, I.I. & Nikolai, F.V. (2014) The redefining of the borders of community: cultural memory, trauma, biopolitics. *Istoriya i istoricheskaya pamyat'*. 9. pp. 90–103. (In Russian).
3. Caruth, C. (1996) *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
4. LaCapra, D. (1996) *Representing the Holocaust: History, Theory, Trauma*. Cornell University Press.
5. Sztompka, P. (2007) Sotsial'noe izmenenie kak travma [Social change as a trauma]. Translated from English. *Sotsiologicheskie issledovaniya – Sociological Studies*. 1. pp. 6–16.
6. Alexander, J. (2013) *Smysly sotsial'noy zhizni: kul'tursotsiologiya* [The meanings of social life: a cultural sociology]. Translated from English. Moscow: Praksis.
7. Ayerman, R. (2013) *Politicheskoe ubiystvo i kul'turnaya travma* [Political Murder and Cultural Trauma]. Translated from English. [Online] Available from: <http://urokiistorii.ru/article/51726>. (Accessed: 11.08.2017).
8. Ayerman, R. (2016) Kul'turnaya travma i kollektivnaya pamyat' [Cultural trauma and collective memory]. Translated from English. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer*. 5. pp. 42–54.
9. Etkind, A. (2016) *Krivoie gore. Pamyat' o nepogrebennykh* [The Wry Grief. Memory of the unburied]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
10. Jay, M. (2003) *Refractions of Violence*. New York: Routledge.
11. Anikin, D.A. (2016) Fight for memoirs: “the critical theory” of collective memory. *Sovremennye issledovaniya sotsial'nykh problem – Modern Research of Social Problems*. 4. pp. 5–8. (In Russian).
12. Hirsch, M. (2017) *Pamyat' i kontrapamyat' budushchego* [Memory and counter-memory of the future]. [Online] Available from: <http://urokiistorii.ru/article/53875>. (Accessed: 11.08.2017).
13. Moroz, O. & Suverina, E. (2014) Trauma studies: istoriya, reprezentatsiya, svidetel' [Trauma studies: history, representation, witness]. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer* 1. pp. 54–70.
14. Sturken, M. (2001) Comfort, irony, and trivialization: the mediation of torture. *International Journal of Cultural Studies*. 1. pp. 1–18. DOI: 10.1177/1367877911403250
15. Bratochkin, A. (2015) *Kul'turnaya travma i media* [Cultural trauma and the media]. [Online] Available from: <http://gefter.ru/archive/15301>. (Accessed: 11.08.2017).

Received: 07 September 2017